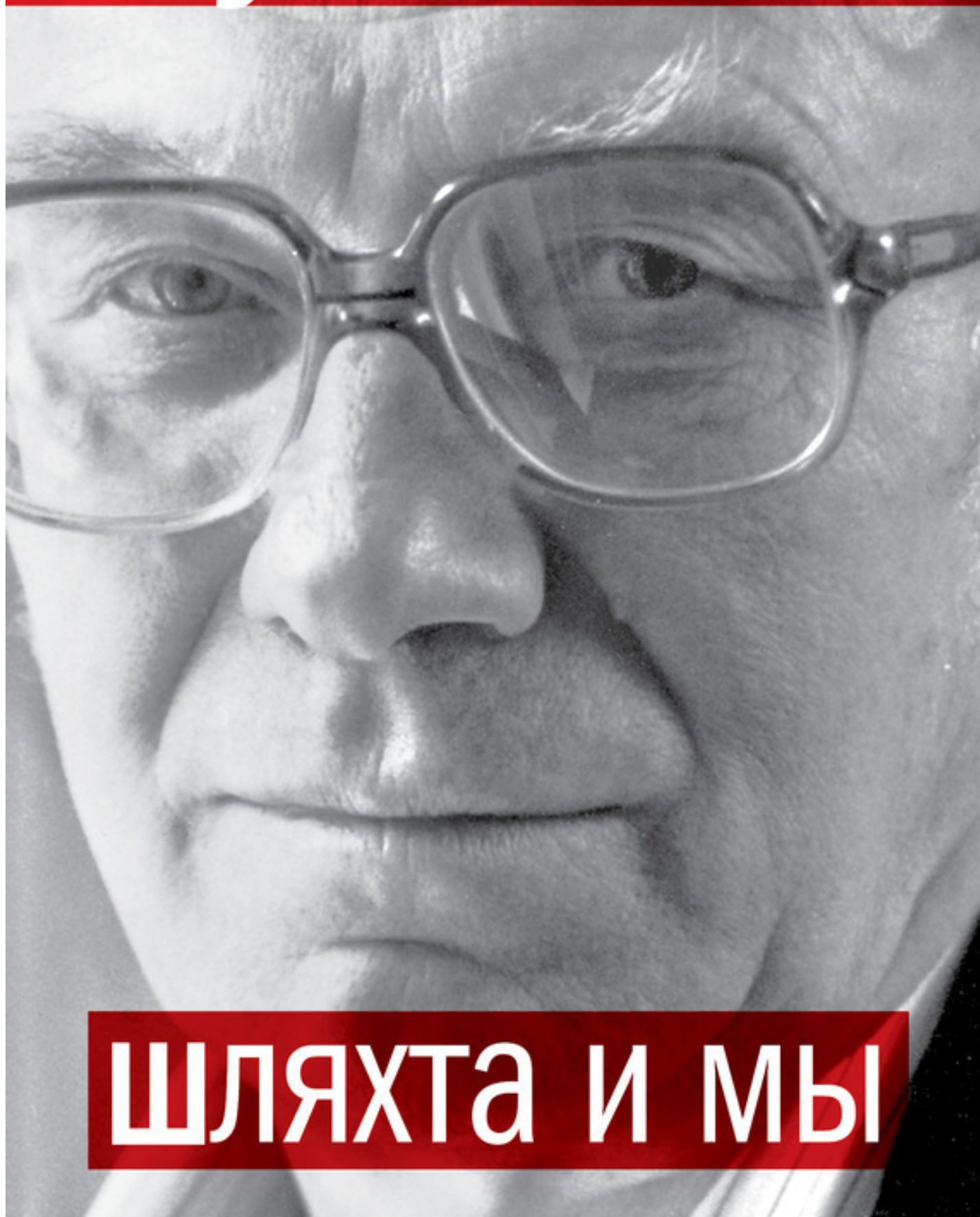


станислав  
**куняев**



**шляхта и мы**

Политические тайны XXI века

Станислав Куняев

**Шляхта и мы**

«Алисторус»

2012

## **Куняев С. Ю.**

Шляхта и мы / С. Ю. Куняев — «Алисторус»,  
2012 — (Политические тайны XXI века)

Впервые журнальный вариант книги «Шляхта и мы» был опубликован в майском номере журнала «Наш современник» за 2002 год и эта публикация настолько всколыхнула польское общественное мнение, что «Московские новости» в июне того же года писали: «Польша бурлит от статьи главного редактора «Нашего современника». Польские газеты и журналы начали дискуссию о самом, наверное, антипольском памфлете со времён Достоевского &lt;...&gt; Куняева ругают на страницах всех крупных газет, но при этом признают – это самая основательная попытка освещения польско-русской темы». В России книга стала историческим бестселлером, издавалась и переиздавалась в 2002-ом, в 2003-ем и в 2005 годах, а в 2006-ом вышла в издательстве «Алгоритм» под названием «Русский полонез». Нынешнее издание по сравнению с предыдущими дополнено стихами русских и польских поэтов, начиная с Пушкина и Мицкевича о «споре славян между собою», свежими главами, написанными по следам драматических российско-польских событий, произошедших в последние годы, а так же новыми открытиями историков, касающихся пакта Молотова-Риббентропа, Катыни, варшавского восстания, гибели польского самолета под Смоленском и т. д. Автор по всем вопросам дает жесткий, но убедительный отпор профессиональным фальсификаторам истории как польским, так и отечественным.

© Куняев С. Ю., 2012

© Алисторус, 2012

## Содержание

Часть I	5
Польское имя	5
Побежденные презирали победителей...	7
Является ли Пушкин русским интеллигентом?	13
Адам Мицкевич и Константин Леонтьев	24
Конец ознакомительного фрагмента.	25

# Станислав Юрьевич Куняев

## Шляхта и мы

### Часть I

#### Польское имя

*Здесь все, что было, все, что есть,  
Надуто мстительной химерой...*

*А. Блок. «Возмездие»*

Моя судьба каким-то странным образом с первых дней жизни была связана с Польшей. Я смутно понял это, когда в лютом январе 1943 года десятилетним отроком зашел отогреться в верхний храм калужской Георгиевской церкви, переполненной женщинами, одетыми в потертые пальтишки, плюшевые душегрейки и ватники. Их бледные измученные лица в обрамлении черных платков и коричневых шалей были обращены к алтарю, где стоял седовласый батюшка в златотканой одежде. Возле него худенький старичок дьякон помахивал кадилом, и синеватый дымок ладана тонкими струйками плыл над старушечьими платками, шальями и полушалками.

– Господи! Даруй победу российскому воинству право-славному-у-у! – дребезжащий голос дьякона раскатывался по углам и приделам храма, уплывал в темный купол, отражаясь от мерцающего паникадила, от тускло поблескивающего иконостаса, от застекленной иконы Калужской Божьей матери, в лике которой плясали язычки свечей...

От густой смеси запахов ладана, влажных несвежих одежд, человеческого дыхания и пота у меня покруживалась голова, я ухватился за чей-то тулуп и стал безвольно двигаться в общей очереди к причастию, предвкушая, как батюшка поднесет к моим пересохшим губам ложечку теплого красного вина. Я уже подошел под его руку, но священник чуть помедлил с причащением и спросил:

– А как звать тебя, отрок?

– Станислав! – послушно ответил я.

– Не крещеный... – вздохнул батюшка. – Имя-то не православное, польское! – И, чуть поколебавшись, все-таки поднес к моему рту заветную серебряную ложечку...

Вечером, вернувшись в нашу комнатенку, в углах которой при свете керосиновой лампы поблескивал иней, я спросил у матери:

– Мама, а почему меня назвали Станиславом?

– Когда тебя принесли из Хлюстинского родильного дома, я спросила у Юры, как назовем мальчика? Отец твой в то время политикой увлекался, газеты читал. А в газетах писали о каком-то советско-польском договоре. Ну, Юра и говорит: «Давай в память этого договора сына Станиславом назовем!»

Когда я уже в почтенном возрасте крестился, то священник отец Владимир из церкви, что на Воробьевых горах, почему-то оставил мне мое прежнее хотя и христианское, но католическое имя. Я все хочу сходить к нему и попросить имя православное. Но почему-то медлю, раздумываю, а вдруг это судьба с какой-то целью привязала меня к польской истории?

Открыв недавно историческую книгу под названием «Советско-польские войны», изданную в 2001 году, я прочитал на 130-й странице о том, что именно 27 ноября 1932 года, в

день, когда я родился, Советский Союз и Польша ратифицировали Договор о ненападении... Вот, оказывается, в честь какого события отец окрестил меня Станиславом. Слава Богу, что не Марленом и не Жоресом...

## Побежденные презирали победителей...

Вот уже больше года в нашу редакцию бесплатно поступает журнал «Новая Польша». Нет, он отнюдь не русофобский, многие его публикации стремятся к тому, чтобы русские и поляки засыпали старые рвы недоверия и неприязни, чтобы задумались о будущем и перестали жить прошлыми страхами и национальными страстями.

Но делают они это странным образом. Девяностолетний патриарх польской литературы, нобелевский лауреат Чеслав Милош публикует в 7-м номере журнала за 2001 год свой короткий, но блестяще написанный фрагмент под названием «Россия» из книги «Родина Европа». Милош хочет разобраться в истоках нашей нелюбви друг к другу.

*«Начало всему – шестнадцатый и семнадцатый века. Польский язык – язык господ, к тому же господ просвещенных, – олицетворял изысканность и вкус на востоке до самого Полоцка и Киева, Московия была землей варваров. С которыми – как с татарвой, вели на окраинах войны...»*

Польские авторы той эпохи, по словам Милоша, отмечают у подданных русского царя «склонность нарушать данное слово, коварство. Они же высмеивают дикость их обычаев».

*«Поляки так или иначе ощущали свое превосходство. Их бесило какое-то оловянное спокойствие в глубине русского характера, долготерпение русских, их упрямство...»*

*«Свое поражение в войне поляки встретили недоуменно... Побежденные презирали победителей, не видя в них ни малейших достоинств».*

Одним словом, поляки – это культурные западные люди, а русские московиты – варвары, азиаты, почти «татарва»...

Упаси бог, я не утверждаю, что сам Милош разделяет эти взгляды. Он просто фиксирует их наличие в польском мировоззрении тех времен. Да и нет во взглядах такого рода ничего нового для человечества. Точно так же относились испанцы к индейским племенам Центральной Америки, а несколько позже ангlosаксы к североамериканским индейцам, французы к арабам, японцы к китайцам и корейцам, а немцы не только к северным славянским и прибалтийским племенам, но и к самим полякам.

Но, как говорится, куда конь с копытом, туда и рак с клешней. Поляки, во всем подражая западным культурным соседям, искали своих «недочеловеков» на Востоке. Они не задумывались о том, что «нецивилизованных» народов на земле нет, – есть просто разные цивилизации.

О том, каковыми показали себя наши соседи-славяне в эпоху русской Смуты, писал боярин Федор Шереметьев в 1618 году, после освобождения Москвы от «просвещенных, – по словам Чеслава Милоша, – господ» (а Милош – этого забывать нельзя, для нынешних поляков как для нас Пушкин, «ихнее – все»):

*«Разнузданный солдат ваш не знал меры в оскорбительных излишествах: забрав все, что только было в доме, он золото, серебро (...) пытками вымогал. Увы! Смотрели мужи на насилие над любыми им женами, матери – на бесчестие несчастных дочерей. Свежа еще у нас о распутстве вашем и разнузданности память (...) Вы растравляли сердца наши оскорбительным презрением. Никогда соплеменник наш не был вами называем иначе, как же – москаль, вор и изменник. Даже и от Храмов Божиих не умели вы рук ваших удержать...»*

Две эти взаимоисключающие точки зрения на поляков – как на «просвещенных западных господ, цивилизаторов» и «грабителей, мародеров, колонизаторов», зародившись в XVII веке, дожили до сегодняшнего времени. Поэт Давид Самойлов, солдат Великой Отечественной, освобождавший Польшу, пишет, к примеру, в книге воспоминаний так:

*«Русская нация во многом может быть благодарна польской... В бурные времена исторические деятели России тянулись к татарщине, азиатскими методами решали насущные*

*вопросы времени. В тихие же времена Михаила и Алексея Польшиа была ближайшей станцией европейской цивилизации».*

Но человек польской крови, писатель Мариуш Вильк, путешествовавший в 2000 году по нашему Северо-Западу, в очерке «Карельские тропы» несколько иначе описывает цивилизаторскую деятельность своих предков в «*тихие времена Михаила*»:

*«Поодаль торчит на полсажени из воды остров Городовой, овеянный легендой о польских «панах». Осенью 1613 г. польско-литовские отряды Тушинского вора, разбойничавшие в заонежских погостах, под командой пана Барышпольца и Сидора двинулись на Холмогоры. После шестидневной неудачной осады холмогорской крепости «литовские воры» отступили, обогнули Архангельск, по пути разорив Николо-Карельский монастырь; возвращаясь, сожгли несколько поморских сел, перешли по льду Онежский залив, безрезультатно осадили Сумский острог, снова напали на заонежские погосты, пытаясь взять Шунгский острог, но, получив отпор, были биты под Толвучей... В марте 1614 г. русские войска окончательно разгромили отряды пана Барышпольца у реки Сермяксы, а остатки отрядов пана Сидора ушли в карельские леса. И в карельские легенды... Одна из них гласила, что «паны» жили на Городовом, откуда нападали на ближайшие деревни, брали крестьян в рабство и грабили до тех пор, пока их старый Койко на Падун не послал – за кладом. На порогах Падун «паны» нашли свою смерть»*

*(«Новая Польша», 2001, № 2)*

Но, может быть, к покоренным народам (к «быдлу») подобное отношение в те жестокие века было обычным, а в отношениях друг с другом шляхтичи были образцами благородства, рыцарства, галантности, европейской воспитанности, словом, личным примером и светочем для русских варваров? Наверное, я и остался бы пребывать в столь обычном заблуждении, если бы не попала мне в руки редкая книга – «Записки Станислава Немоевского», изданная в 1907 году в России. Автор – знатный шляхтич, обучался в Италии, по возвращении стал видным польским дипломатом при королевском дворе, а в 1606 году отправился в Москву, чтобы продать по просьбе Анны, сестры Сигизмунда III, царю Ажедмитрию I, уже сидевшему на московском престоле, шкатулку, наполненную, как пишет Немоевский, «*бриллиантами, перлами и рубинами*». Лжедмитрий радушно принял посла-коммивояжера, восхитился драгоценностями, но купить их для Марины Мнишек не успел, поскольку был убит на другой день русскими заговорщиками. После его смерти по всей Москве начались польские погромы, и взошедший на трон Василий Шуйский, дабы спасти знатных поляков от мстительных москвичей, выслал их, а говоря современным языком, «интернировал» в количестве ста шестидесяти душ в городишко Белозерск на Вологодчину. Конечно, жилось там благородным и культурным шляхтичам среди диких варваров (вепсов и русских) несладко. Острог и курные избы для жизни были худые, тесные, грязные, питание плохонькое. Словом, жили они не лучше, чем наши военнопленные в польских лагерях после нашего поражения в 1919–1920 годах, много хуже, чем интернированное польское офицерство в советских лагерях 1939–1941 годов. Недоедали, умирали от болезней. Правда, жили без охраны. Но куда убежишь с берегов Белого озера? Кругом непроходимые леса да болота. И стали тогда грамотные шляхтичи засыпать царя Василия Шуйского челобитными посланиями, умолять «*о хорошем содержании и снабжении достойными кормами*» и о скорейшей отправке их на родину... Из Москвы им приходили ответы, что московская земля разорена, что воровских банд по ней шляется много и что пока невозможно ни содержания улучшить, ни домой отправить... И тогда среди шляхты начались раздоры. Какова была там шляхетская элита и стояла ли она выше «варваров», о чем не раз говорит Чеслав Милош, можно судить из одной дневниковой записи Немоевского, сделанной летом 1607 года.



*«Так как мы жили по своей воле, внимания ни на кого не обращали, то между нас открылся страшный разврат: хвастанье нарядами, банкетами, забавами, танцами (и это среди крайнего недостатка, нужды и заключения), наговорами одного на другого, взаимным язвлением и сплетнями, писанием пасквилей друг на друга, без всякой пощады кого-либо. К тому надо присоединить картежничество, повальное пьянство, без мысли о страхе Божиим, без внимания к великим праздникам, постам и дням, установленным для покаяния. И если бы еще упивались чем, а то скверной горелкой, смешанной с дрянным пивом. И для этой цели продавая одежду с себя или со слуги. Вследствие всего этого частые ссоры, раздоры, споры, пересылки о поединках и вызовы на поединки, драки, поранения, гнусный блуд, прелюбодеяния, *ragacidia* – мать порезала на куски свое дитя и побросала на крышу, желая скрыть свой разврат и блуд, – и иные гнусные грехи, о которых по омерзительности их и по безгласности перед Богом и вспоминать-то не годится, и стыд не допускает; наконец, свершилось и ужасное душегубство: убийство в святой пасхальный день палкой в голову безоружного, сзади, шляхтича в тюрьме и по вздорному поводу. Присоединим кражи друг у друга и взаимные ограбления сундуков».*

Впечатляющие образы культурных, почти западных людей... Но богобоязненный христианин шляхтич не был бы шляхтичем, если бы после этих честных записей не добавил, что это все – Божье наказание за то, что *«заключение и мучение, что вынесли мы от столь подлого народа, нас не уgomонило...»* Этот же русский народ в записках Немоевского именуется *«варварским»*, *«злым»*, *«животным»* и, конечно, *«быдлом»*...

Знатный шляхтич в своих записках горевал, что ему с высокородными панами придется терпеть *«от народа, вероятно самого низкого на свете, самого грубого и не способного к бою, не обученного в рыцарском деле, у которого нет ни замков, ни городов, ни доблести, ни храбрости»*...

\* \* \*

Я пишу эти страницы в первые дни ноября 2001 года. Сегодня четвертое – день Казанской Божией матери. Православный праздник, учрежденный в честь иконы, под покровительством которой Минин и Пожарский в 1612 году повели свое ополчение на штурм Кремля и освободили его от польских оккупантов. Поляки часто иронизируют над тем, что мы еще помним давний день освобождения и чтим икону Казанской Божией матери, которая, кстати, во время войны какими-то таинственными путями попала в Ватикан, где и пребывает до сей поры в заточении у католиков. Взяли, так сказать, реванш... Ездят наши президенты и крупнейшие политики к папе – бывшему польскому кардиналу Войтыле – уже десять с лишним лет, и никто из них не решится попросить или потребовать, чтобы вернулась наша национальная святыня на родину. Боятся, что ли, национальные чувства Войтылы потревожить?

Однако я отвлекся. Полякам чрезвычайно свойственно помнить и праздновать дни всех своих романтических и драматических восстаний против России. А чего же нам стесняться и не праздновать 4 ноября – наш день освобождения? Может быть, даже стоит его сделать национальным праздником, тем более что в 2002 году будет юбилей нашего освобождения от польских оккупантов.

Рядом с калужским домом, где я пишу эту главу, в ста метрах буквально, стоит кирпичный терем с узорчатой кладкой, витиеватыми каменными наличниками, толстыми стенами. В нем после бегства из Москвы жила временно исполнявшая обязанности московской царицы Марина Мнишек, дочь польского сандомирского воеводы. От этого терема почти что видна окраина калужского бора, на которой неверные соратники Лжедмитрия II в 1613 году зарубили саблями очередного мужа сандомирской авантюристки, возмечтавшей стать владычицей варварской Московии. Так что граница Руси и Польши вполне могла бы при другом повороте

истории пройти по окраине калужского бора, по речушке Ячейке, по извивам моей родной Оки. Пусть об этом не забывают наши полонофилы...

Феноменальная особенность польской истории, видимо, заключена в том, что никакие социальные потрясения, никакие перевороты и национальные катастрофы за последние несколько веков не изменили сути того, что законсервировано в понятии «шляхетство», «шляхта»... Чеслав Милош пытается убедить мир, что «шляхетство» есть самосознание не только польской знати, но всего народа. Возможно. Но тем хуже для народа, если, как пишет нобелевский лауреат, *«в Польше в эту эпоху (XVI–XVII века. – Ст. К.) складывалась дворянская культура, и польский крестьянин или рабочий по сей день колют ей глаза русскому, сплошь и рядом неся на себе ее следы, отчего и получают от него кличку «пана»...»*

Русский крестьянин или рабочий никогда не додумывался до того, чтобы «колоть» культурой Пушкина и Чайковского глаза узбека или казаха... Впрочем, позволю себе усомниться в правоте Милоша. Думаю, что польское простонародье не было заражено дурной шляхетской болезнью и относилось к России иначе, нежели знатное сословие.

В доказательство приведу отрывок из воспоминаний того же Самойлова, с которым я на этот раз согласен. Поэт вспоминает о том, как в 1944 году его разведрота вошла в Польшу: *«Деревня. Три часа назад здесь были немцы. Потом прошли наши танки, Поляки приветствуют нас со слезами радости. Ночь. Вошли в село, где еще не видели русских.*

*– Пять лет вас высматривали, – говорит старая бабка. Жители тащат нас в дома, угощают молоком и самогоном».*

Честное свидетельство того, что польское простонародье относилось к русским безо всякого гонора, мы получили из уст восторженного полонофила. А это – дорогого стоит, поскольку подтачивает концепцию Чеслава Милоша о полной «шляхетизации» польского народа.

Так что деваться некуда: придется перейти на классовые позиции, чтобы понять – шляхетский гонор бессмертен. И от него страдали не только подвластные шляхте холопы, но куда более русские, белорусы и особенно украинцы, презрение поляков к которым правильнее объяснить не застарелой жадной мести за исторические обиды (украинцы натерпелись от поляков за всю историю куда больше, чем нанесли обид сами), а особым польским расизмом по отношению к хуторянскому, почвенному, негосударственному и потому плохо приспособленному к сопротивлению племени. Незадолго до гибели Пушкина вышел в свет первый номер созданного им журнала «Современник», где были опубликованы его размышления о «Собрании сочинений Георгия Конисского, архиепископа Белорусского». Несомненно, что интерес Пушкина после польского восстания 1830 года к такого рода сочинениям обуславливался и тем, что в них Пушкин нашел немало страниц, изображающих нравы и национальный характер шляхтичей XVII века, их неизменное на протяжении веков презрение к триединому восточнославянскому племени русских, украинцев и белорусов. Пушкин в своем отзыве щедро цитировал отрывки из исторических записей, которые, видимо, казались ему крайне важными, повествующие о расправе поляков с непокорными украинскими повстанцами:

*«Казнь она была еще первая в мире и в своем роде, и неслыханная в человечестве по лютости своей и коварству, и потомство едва ли поверит сему событию, ибо никакому дикому и самому свирепому японцу не придет в голову ее изобретение; а произведение в действо устрашило бы самых зверей и чудовищ.*

Зрелище оное открывала процессия римская со множеством ксендзов их, которые угваривали ведомых на жертву малороссиян, чтобы они приняли закон их на избавление свое в чистцу, но сии, ничего им не отвечая, молились Богу по своей вере. Место казни наполнено было народом, войском и палачами с их орудиями. Гетман Острица, обозный генерал Сурмила и полковники Недригайло, Боюн и Риндич были колесованы, и им переломали поминутно руки и ноги, тянули с них по колесу жилы, пока они скончались; Чуприна, Околович, Сокальский, Миревич и Ворожит прибиты гвоздями стоячие к доскам, облитым смолою, и сожжены

медленно огнем; старшины: Ментяй, Дунаевский, Скубрей, Глянский, Завезун, Косырь, Гуртовый, Тумарь и Тугай четвертованы по частям. Жены и дети страдалцев оных, увидя первоначальную казнь, наполняли воздух воплями и рыданием; скоро замолкли. Женам сим, по невероятному тогдашнему зверству, обрезавши груди, перерубили их до одной, а сосцами их били мужей, в живых еще бывших, по лицам их, оставшихся же по матерям детей, бродивших и ползавших около их трупов, пережгли всех в виду своих отцов на железных решетках, под кои подкидывали уголья и раздували шапками и метлами.

Они между прочим несколько раз повторяли произведенные в Варшаве лютости над несчастными малороссиянами, несколько раз варили в котлах и сжигали на угольях детей их в виду родителей, предавая самих отцов лютейшим казням».

Конечно, в те времена нравы были везде жестокими. Степана Разина четвертовали. Петр Первый пролил на Красной площади море стрелецкой крови. Император Николай отправил пять декабристов на виселицу. Но в России так расправлялись со своими подданными, со своими бунтовщиками и предателями. С пленными других государств и народов даже в ту варварскую эпоху русская власть обращалась иначе. Немоевского с шляхтой Василий Шуйский «интернировал» на берега Белого озера. Тот же Петр Первый поднял кубок за «учителей своих» – пленных шведов и с почестями отправил их на родину, пленные французы после 1812 года, как правило, устраивались воспитателями и учителями дворянских детей (вспомним «Дубровского»)...

А с пленными малороссиянами польская государственная и духовная власть расправлялась поистине «огнем и мечом». Впрочем, аутодафе и костры – западная традиция, изобретение католической Европы, которая унаследовала любовь к кровавым публичным зрелищам от Древнего Рима. В Испании и Польше – двух флангах жестокого католического мира – такие зрелища были особенно популярны. Десятками тысяч сжигала цивилизованная Европа евреев, маранов, ведьм, еретиков, алхимиков, мусульман, православных, ученых, народных вождей... Сожжения совершались на главных площадях во время всенародных праздников, по поводу бракосочетания персон королевской крови, приговоренным специально изготовлялись шутовские одежды, и само действие было сродни карнавалу. Известны случаи, когда в Испании костер поджигали высшие королевские особы. Последнее аутодафе в Португалии состоялось в 1739 году. В Испании – аж 1 августа 1826 года. В Польше... – но об этом ниже. История Европы и ее родной дочери Польши – это история вечно обновляющегося жертвенного пламени.

Конечно, нравы с веками смягчаются, но все равно они подчинены генотипу, который и в феодальные, и в пилсудские, и в демократические времена нет-нет да и вылезет из-под благопристойной оболочки, как шило из мешка.

Вот как вспоминают свою жизнь на заработках в современной Польше украинские женщины:

*«Отношения с хозяевами? А их и не было. Они в буквальном смысле считали нас рабочим скотом. Где-то через месяц после начала нашей работы Тадезий поссорился с местными батраками, и те от него ушли. Вечером к нам подошла Стефания и приказала:*

*– Людмила, Наталья и Вероника, идите убирать свинарник.*

*Наталья не выдержала и возмутилась:*

*– Мы не договаривались работать по 15 часов в день!*

*Стефания резко развернулась и ударила ее кулаком в лицо, разбив губы:*

*– Не хочешь работать – убирайся! Никто тебя не держит и платить не собирается!*

*И женищины, сцепив зубы, отправились убирать...*

*Или другой случай. Ляне в теплице стало плохо, и она упала прямо на помидоры. Хозяин от злости исполосовал ее ремнем да еще оштрафовал на 15 долларов.*

*Когда приходили к себе в комнату, не было сил даже плакать...» («Русский дом», 1998, № 3).*

Что в XVII веке, что в конце XX – украинцы и украинки были и есть для «шляхты» рабочим быдлом и недочеловеками...

Но интересно, почему немцы в своих документах, разговорах, программах, рассуждая о судьбах славян в Третьем рейхе, именно к полякам применяли чаще всего постулаты своей расовой теории? Гитлер говорил: *«Необходимо следить, чтобы немцы ни в коем случае не смешивались с поляками, не насыщали ведущие слои польского населения немецкой кровью»*; Гиммлер в генеральном плане «Ост» отзывался о них как о *«неполноценном населении»*; идеолог фашистского расизма доктор Аейтцель размышлял о выселении в Сибирь *«нежелательных в расовом отношении поляков»* и *«о числе пригодных для онемечивания расово полноценных»*.

Видимо, доктор Геббельс послушал-послушал, как поляки, желая унижить русских, называют их «азиатами», «варварами», «татарами», а украинцев «быдлом», и понял, что с ними должно разговаривать на языке, которым они сами пользуются, и доложил фюреру: «Мой фюрер! Поляки верят в расовую теорию. Кровь для них определяет все. Недаром их любимое ругательство, которым они награждают украинцев и других неполноценных, – «пся крев!» – собачья кровь. Но в таком случае они легко поймут, что есть в расовой иерархии народы, которые стоят выше поляков, – с большей чистотой расы и с большей близостью к арийскому идеалу. Полякам вполне возможно внушить чувство расовой неполноценности по сравнению с нами, немцами! – А потом добавил: – *На поляков действует только сила, В Польше уже начинается Азия»*. Чтобы не зазнавались – поставил шляхту на место. И совсем уж издевательски прозвучал ультиматум руководства вермахта полякам, оборонявшим в сентябре месяце 1939 года город Львов: *«Если сдадите Львов нам – останетесь в Европе, если сдадите большевикам – станете навсегда Азией»*. Знали польские комплексы. Знали, чем застрашать. Вы скажете – это история, было да быльем поросло. Сейчас Польша другая, и поляки другие. Не торопитесь, вот что пишет честный польский публицист Влодзимеж Завадский в наши с вами дни:

*«Недавно архиепископ Жичинский, президент и премьер заметили по случаю шестидесятилетия Катинского злодеяния, что не следует винить в нем всех русских (спасибо! – Ст. К.). Слова о том, что нельзя винить весь народ., кто-то счел сенсацией, и они вызвали в Польше широкий резонанс»* (естественно, негативный. – Ст. К.), *«...мри коммунистах наше отношение к России было шизофреническим... Власти и официальная пропаганда трубили о вечной дружбе, народ же смотрел на Запад, как будто на месте России зияла черная дыра...», «У нас теперь нет с русскими никаких контактов», «правые... живут антирусской идеологией, они по религии антирусские», «...не видно сил, которые искренне желали бы дружбы с восточными соседями, и похоже, нас ждет переход через пустыню»*.

## Является ли Пушкин русским интеллигентом?

«Польский след», начиная с курьезной истории обретения имени, проступал в моей судьбе постоянно. В 1960 году, во время моей работы в журнале «Знамя», я решил опубликовать на его страницах стихи моего тогдашнего поэтического кумира Бориса Слуцкого.

Я созвонился с ним, приехал в Балтийский переулок, где в желтом оштукатуренном доме времен первых пятилеток жил Борис Абрамович, позвонил в дверной звонок. Слуцкий открыл дверь – усатый, краснощекий, немногословный:

– Есть хотите? Я сейчас пожарю для вас яичницу, а вы пока прочитайте мои стихи и выберите для журнала все, что считаете возможным и нужным.

Я сел за стол и с благоговением начал перебирать листочки желтоватой бумаги со слепыми расплывчатыми строчками – видно, давно они были отпечатаны на плохой, изношенной машинке, да никак не шли в дело. Первое стихотворенье называлось «Польша и мы». Я как прочитал его – так запомнил наизусть и до сих пор помню.

Покуда над стихами плачут  
и то возносят, то поносят,  
покуда их, как деньги, прячут,  
покуда их, как хлеба, просят —

до той поры не оскудело,  
не отзвенело наше дело,  
оно – как Польша не згинело,  
хоть выдержало три раздела.

Для тех, кто на сравненья лаком,  
я точности не знаю большей,  
как русский стих сравнить с поляком,  
поэзию родную с Польшей.

Она еще вчера бежала,  
заламывая руки в страхе,  
она еще вчера лежала,  
быть может, на десятой плахе.

И вновь роман нахально крутит  
и звонким голосом хохочет...  
А то, что было, то, что будет —  
про то и знать она не хочет.

Стихи о свободе восхитили меня, и весьма долгое время я ощущал их как мощную прививку вакцины вольнолюбивого полонофильства для моего духовного организма.

Да только ли для моего! Недавно я прочитал в сборнике «Поляки и русские», изданном в 2001 году в Москве на польские деньги (что немаловажно!), воспоминания поэта В. Британишского «Польша в сознании поколения оттепели»: «...вначале Польша была для нас окном в свободу... позже она была для нас окном в Европу», – пишет сам Британишский. Он же вспоминает фразу И. Бродского «Польша была нашей поэтикой». О товарищах по Ленинграду

эпохи оттепели Александре Кушнере и Евгении Рейне Британишский пишет так: *«Они, как и другие, боготворили Польшу, как страну Свободы, обожали фильмы Вайды...»*

И естественно, что автор воспоминаний не может обойтись без признания заслуг крупнейших полонофилов военного поколения поэтов – Самойлова и Слуцкого: *«Именно эти два поэта – авторы двух самых ярких и значительных поэтических текстов о Польше в нашей поэзии второй половины века... Мы повернули наши головы к Польше, которая стала для нас недостижимым идеалом свободы...»*

Вспоминаю, что и я, естественно, не с такой экзальтацией и не с таким подобострастием, но любил Польшу некой «странною любовью», хотя, если обратиться к перечню имен из статьи Британишского (Слуцкий, Самойлов, Рейн, Кушнер, Бродский, Эппель, Марк Самаев – сюда бы еще добавить Горбаневскую), надо бы объяснить, почему все полонофилы тех лет – евреи и каким образом в их число попал русский человек Станислав Куняев? Ведь не только из-за истории с именем.

...Многие из нас в шестидесятые годы бредили словами «свобода» и «воля». Эти слова, как зерна, были рассыпаны в поэтических книжках тех лет. Да, настоящая поэзия должна быть именно такой! Недаром свою любимую книгу, изданную в 1966 году, я назвал «Метель заходит в город». Метель для меня была символом стихии, никому и ничему не подвластной. А Игорь Шкляревский, не мудрствуя лукаво, дал своему сборнику имя «Воля», а Вячеслав Шугаев назвал книгу прозы еще хлеще – «Вольному воля». Поэты военного поколения сразу уловили разницу нашего и их ощущения жизни. Поэт и переводчик Владимир Лившиц, прочитав мою книжицу «Метель заходит в город», прислал мне такое письмо:

*«Порой берет зависть: как Вам удалось достичь такой душевной раскрепощенности, такой свободы?... Вероятно, людям моего поколения это уже не дано. Стихов, которые меня тронули, так много, что их не перечислить. Талантливые, умные, ироничные, но главное их качество – свобода. Жизнь нет-нет да и подарит радость. Такой радостью была Ваша книга».*

Вечная борьба Польши за свободу и вечное сопротивление поэзии насилию – цензуре, государству, тирании! Ну как было не восхититься стихами Слуцкого о Польше! А тут еще и наш Коля Рубцов отчеканил свою мысль о главенстве поэзии над жизнью:

И не она от нас зависит,  
а мы зависим от нее!

Все это кружило нам головы и волновало сердца. Узы семьи, государства, долга, исторической необходимости – все отступало перед жадной полной свободы – да не только по Слуцкому, а бери выше – по Пушкину! Сколько раз мы в нашем кругу, упиваясь, декламировали друг другу заветные строки:

Зачем кружится вихрь в овраге,  
Подъемлет пыль и лист несет,  
Когда корабль в недвижной влаге  
Его дыханья жадно ждет?  
Зачем среди лесов и пашен  
Летит орел, тяжел и страшен,  
На чахлый пенёк – спроси его!  
Зачем арапа своего  
Младая любит Дездемона,  
Как месяц любит ночи мглу?

Затем, что ветру, и орлу,  
И сердцу девы нет закона.  
Гордись, таков и ты, поэт,  
И для тебя условий нет.

Часто мы даже поправляли Пушкина и вместо «условий нет» читали «закона нет», то есть возводили самоуправно диктат поэзии на вершины бытия, дерзко приравнивая поэта к Творцу.

Прочитать по-настоящему и понять национальное завещание Пушкина «Клеветникам России» нам еще предстояло.

Но вот камень преткновения: если слова из дневниковой записи Давида Самойлова *«Любовь к Польше – неизбежность для русского интеллигента»* справедливы, то в таком случае нельзя считать интеллигентами Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Федора Достоевского, Федора Тютчева, Николая Некрасова, Петра Чаадаева, Константина Леонтьева... Русских гениев художественной жизни и истории, которые «не любили» Польшу. (А может быть, гений и интеллигенция «две вещи несовместные»?) Следом за ними стоит целый ряд людей культуры как бы второго ряда, но исповедующих те же убеждения и потому тоже «недостойных» носить почетное звание *«русского интеллигента»*: В. Жуковский, В. Даль, Н. Лесков, К. Аксаков, А. Хомяков, В. Кюхельбекер, историк С. М. Соловьев. Не слабо, как вы понимаете, панове. Кого же тогда, кроме Самойлова, Слуцкого, Бродского, Рейна, Кушнера и Британишского, можно ввести в сонм ордена русской интеллигенции? Неужели Польше так не повезло, что самые славные имена русской культуры были свободны от полонофильства? А кто же тогда остается в рядах интеллигенции? Одиозный Фаддей Булгарин, ревнивый товарищ Пушкина Петр Андреевич Вяземский, выродок русской жизни, перешедший в католичество Владимир Сергеевич Печерин? Наиболее серьезное имя среди них – Александр Иванович Герцен. Но и тот, по глубокому замечанию Достоевского, «не стал эмигрантом, но им родился»... Не густо. Тем более что без размышлений об особенностях полонофильства каждого из них не обойтись. А особенности эти весьма любопытны. Но перед тем как поразмыслить о каждом из них, хочу высказать одно общее соображение.

Многие русские писатели вольно или невольно пострадали малым народам, жившим на просторах Российской империи и вообще в славянских пределах. Пушкин восхищался вольнолюбием кавказских горцев:

Так буйную вольность законы теснят,  
Так дикое племя под властью тоскует,  
Так ныне безмолвный Кавказ негодует,  
Так чуждые силы его тяготят.

Лермонтов очаровал русское общество романтическими образами отрока Мцыри, Измаил-бея, Хаджи-абрека, Бэлы, Казбича. Толстой написал великую повесть о Хаджи-Мурате. Достоевский в «Дневниках писателя», Тютчев в политических стихах, Константин Леонтьев в повестях своей дипломатической жизни, Тургенев в романе «Накануне» демонстративно поддерживали греков и славян в их сопротивлении туркам, чехов в противостоянии онемечиванию, боснийских сербов в борьбе за национальное бытие с империей Габсбургов. Даже вступление России в Первую мировую войну было оправдано русским обществом необходимостью помощи сербам. И лишь одно «национально-освободительное движение» – польское – во все времена вызывало у крупнейших русских гениев неприятие. Добровольцы из России отправлялись умирать ради свободы греков в двадцатых годах XIX века, ради спасения болгар в 1887 году, русские юноши даже к бурам в Южную Африку убегали, «держали в зубах» песню «Трансваль, Трансваль, страна моя»... Но чтобы русские добровольцы во время

польских восстаний сражались плечом к плечу с шляхтичами, помогая им закрепощать украинцев, белорусов, литовцев? Такого почти не было. Или не было совсем. Начало этой традиции сопротивления полонофильству было, конечно же, заложено Пушкиным в историческом письме Бенкендорфу от 1830 года:

*«С радостью взялся бы я – за редакцию политического журнала... Около него соединил бы я писателей с дарованиями... Ныне, когда справедливое негодование и старая народная вражда, долго растрavляемая завистью, соединила всех нас (имелись в виду близкие Пушкину писатели. – Ст. К.) против польских мятежников, озлобленная Европа нападает покамест на Россию не оружием, но ежедневной бешеной клеветой... Пускай позволят нам, русским писателям, отражать бесстыдные и невежественные нападки иностранных газет».*

Бенкендорф не предоставил поэту желанной возможности, и тогда Пушкин нашел блистательный выход из положения и написал свои великие патриотические оды «Клеветникам России» и «Бородинская годовщина», полные презрения к демагогам из западноевропейских парламентов:

Но вы, мутители палат,  
Легкоязычные<sup>1</sup> витии,  
Вы, черни бедственный набат,  
Клеветники, враги России.

Чеслав Милош совершенно не понимает этих стихов, когда пишет, что в них *«нет ничего, кроме проклятий народу, который пытается отстоять свою независимость»*. О польском народе в стихах Пушкина нет ни слова. И даже польский сюжет там не основной. Главный пафос стихотворенья направлен против газетных и парламентских провокаторов, против европейского интернационала, против сатанинской антанты всех антирусских сил Европы. Россия к тому времени лишь пятнадцать лет назад одолела нашествие двенадцати европейских «языков» (вместе с польским), и вдруг они снова заговорили, заверещали, завизжали с трибун Лондона, Парижа, Вены... *«Черни бедственный набат»*... Слово «чернь» в польских стихах Пушкина – самое важное. Вспомним: *«в угоду черни буйной»*. Не о Польше писал Пушкин, тем более не о польском народе. Это было бы слишком мелко. Но о Европе, которая *«по отношению к России была всегда столь же невежественна, сколь и неблагодарна»*. Петр Чаадаев, которого и поныне многие невежественные апологеты Запада (да кое-кто из наших неумных патриотов) считают чуть ли не русофобом, 18 сентября 1831 года написал Пушкину в письме из Москвы:

*«Я только что увидел два важных стихотворения. Мой друг, никогда еще вы не доставляли мне такого удовольствия. Вот, наконец, вы – национальный поэт... Не могу выразить вам того удовлетворения, которое вы заставили меня испытать... Стихотворение к врагам России в особенности изумительно, это я говорю вам. В нем больше мыслей, чем их было высказано и осуществлено за последние сто лет... Не все держатся здесь моего взгляда, это вы, вероятно, и сами подозреваете: но пусть их говорят, а мы пойдем вперед... Мне хочется сказать: вот, наконец, явился наш Дант... А если еще вспомнить, что Пушкин предпринял немало усилий, чтобы его младший брат Лев был зачислен в полк, сражающийся с польскими мятежниками, и если прочесть слова, написанные им в 1834 году о московских полонофилах:*

*«Грустно было слышать толки московского общества во время последнего польского возмущения. Гадко было видеть бездущинного читателя французских газет».*

Пушкин был прав, утверждая, что восставшая в 1830 году шляхта открыто призывала Европу к очередному крестовому походу на Россию, изображая при этом себя защитницей

<sup>1</sup> Какой восхитительный эпитет! – Ст. К.



общеевропейских интересов. В манифесте польского сейма от 6.12.1830 г. цели восстания были сформулированы людьми, несомненно страдавшими манией величия: «...не допустить до Европы дикой орды Севера... Защитить права европейских народов...»

Через тридцать с лишним лет во время польского восстания 1863 года немецкий историк Ф. Смит жестоко высмеет маниакальные идеи авторов манифеста: «*Не говоря уже о крайней самонадеянности., с которою четыре миллиона людей брали на себя покровительство 160 миллионов, поляки хотели еще уверить, что предприняли свою революцию за Австрию и Пруссию, дабы «служить им оплотом против России».*

\* \* \*

Ну, а что же наши полонофилы – Герцен, Вяземский, Печерин, буйный авантюрист Бакунин? Сразу надо сказать, что их обобщенный образ воссоздал тот же Александр Пушкин, видимо, уяснив для себя, что это задача исторической важности. Известный пушкинист С. М. Бонди в свое время по плохо сохранившемуся тексту реставрировал одно из посмертно обретших жизнь стихотворений Пушкина о типе русского интеллигента-полонофила:

Ты просвещением свой разум осветил,  
Ты правды чистый лик увидел.  
И нежно чуждые народы возлюбил  
И мудро свой возненавидел.

Когда безмолвная Варшава поднялась  
И ярым бунтом опьянела,  
И смертная борьба меж нами началась  
При клике «Польска не згинела!»,

Ты руки потирал от наших неудач,  
С лукавым смехом слушал вести,  
Когда разбитые полки бежали вскачь  
И гибло знамя нашей чести.

Когда ж Варшавы бунт раздавленный лежал  
Во прахе, пламени и в дыме,  
Поникнул ты главой и горько возрыдал,  
Как жид о Иерусалиме.

Кто персонаж этого стихотворенья? Конечно же, не только московский либерал-полонофил Г. А. Римский-Корсаков, возможный его прототип. Но и русофоб В. Печерин, и в какой-то степени Герцен, а в наше время он принимает черты то ли Бродского, то ли Бабицкого, то ли какого-нибудь совершенно ничтожного Альфреда Коха... Вот что значит пророческое стихотворенье, написанное на века! Все они до сих пор *«руки потирают от наших неудач»*.

Но забавно то, что в полонофильстве современников Пушкина живет и делает это полонофильство смешным глубокое противоречие: сочувствуя Польше в ее отчаянной борьбе с самодержавием, с наслаждением предавая русские национальные интересы ради интересов прогрессивной Европы и ее шляхетского форпоста, каждый из них тем не менее, когда ближе знакомился с конкретными представителями шляхты, приходил в недоумение, а то и в ужас от крайностей польского национального характера – высокомерного, экзальтированного, истери-

ческого. И каждый из них рано или поздно приходил к выводу, что именно в этом характере заключены все прошлые, настоящие и будущие беды Польши.

На что уж Герцен всю свою политическую и литературную репутацию бросил на польскую чашу весов во время восстания 1863 года, призывая русских офицеров в своем «Колоколе» объединиться с поляками против царизма в борьбе «за нашу и вашу свободу», – и то в конце концов не выдержал и написал в «Былом и думах»:

*«У поляков католицизм развил ту мистическую экзальтацию, которая постоянно их поддерживает в мире призрачном... Мессианизм вскружил голову сотням поляков и самому Мицкевичу».*

А князь Петр Андреевич Вяземский? Он и служебную карьеру начал в Варшаве в 1819–1821 годах, присутствовал при открытии первого сейма, переводил шляхте и магнатам речь Александра Первого, был против введения войск в Польшу во время восстания 1830 года, называл великие стихи Пушкина «Клеветникам России» шинельной одой, но потом с разочарованием признался в дневнике: *«Как поляки ни безмозглы, но все же нельзя вообразить, чтобы целый народ шел на вольную смерть, на неминуемую гибель... Наполеон закабалил их двумя, тремя фразами... Что же сделал он для Польши? Обратил к ней несколько военных мадригалов в своих прокламациях, роздал ей несколько крестов Почетного Легиона, купленных ею потоками польской крови. Вот и все. Но Мицкевич, как заметили мы прежде, был уже омрачен, оморочен... Польская эмиграция овладела им, овладел и театральный либерализм, то есть лживый и бесплодный...»*

Но наиболее крутая и поучительная эволюция по отношению к Польше и к Западу вообще произошла на протяжении жизни с одним из самых отпетых русофобов в нашей истории – с Владимиром Печериным. Он, конечно же, представлял собой клинический тип русского человека, которому никакие диссиденты нашего времени – ни Андрей Синявский, ни генерал Григоренко, ни даже Солженицын – в подметки не годятся. Вспоминая в своей поздней и единственной книге «Замогильные записки» о юности на юге России, в семье своего отца, поручика Ярославского пехотного полка, участника войны с Наполеоном, Владимир Печерин писал:

*«Полковник Пестель был нашим близким соседом. Его просто обожали. Он был идолом 2-й армии. Из нашего и других полков офицеры беспрестанно просили о переводе в полк к Пестелю. «Там свобода! Там благородство! Там честь!» Кессман и Сверчевский имели ко мне неограниченное доверие. Они без малейшей застенчивости обсуждали передо мной планы восстания, и как легко было бы, например, арестовать моего отца и завладеть городом и пр. Я все слушал, все знал; на все был готов: мне кажется, я пошел бы за ними в огонь и воду...»*

Кессман был учителем юноши Печерина, учил его европейским языкам. Отставной поручик Сверчевский занимал пост липовецкого городничего в городке, где стоял Ярославский пехотный полк. Оба – из поляков. Кессман покончил жизнь самоубийством еще до декабрьского восстания, Сверчевский, как один из бунтовщиков, был во время польского восстания 1831 года расстрелян отцом автора «Замогильных записок» майором Печериным. Но речь не о них, речь о национально-политической шизофрении, охватившей в начале 20-х годов XIX века часть дворянской интеллигенции. Насколько она, эта шизофрения, была глубока, свидетельствуют некоторые записи Печерина из его мемуаров:

*«Я добровольно покинул Россию ради служения революционной идее и, таким образом, явился первым русским политическим эмигрантом XIX века».*

*«Я никогда не был и не буду верноподданным. Я живо сочувствую геройским подвигам и страданиям католического духовенства в Польше».*

*«В припадке этого байронизма я написал в Берлине эти безумные строки:*

*Как сладостно отчизну ненавидеть*

*И жадно ждать ее уничтоженья,  
И в разрушении отчизны видеть  
Всемирную десницу возрожденья!*

*Не осуждайте меня, но войдите, вдумайтесь, вчувствуйтесь в мое положение!»*

*«Таков был дух нашего времени или по крайней мере нашего кружка; совершенное презрение ко всему русскому и рабское поклонение всему французскому, начиная с палаты депутатов и кончая Jar din Mabile-м!»<sup>2</sup>*

Национальная шизофрения «первого русского политэмигранта XIX века» принимала поистине комические формы. Скитаясь в нищете по Франции, живя жизнью, если говорить современным языком, бомжа, он обменял свои хорошие штаны у хозяйки дома, где остановился на ночлег, на старые заплатанные штаны ее супруга, чтобы получить в добавку скромный ужин: *«Чтобы возбудить ее сожаление, я сказал: – Я бедный польский эмигрант»*. А тогда ими была наводнена вся Европа. С одним из таких настоящих «бедных польских эмигрантов» Печерин вскоре встретился и вот какое впечатление вынес от этой встречи: *«Потоцкий был самый идеал польского шляхтича: долговязый, худощавый, бледный, белобрысый, с длинными повисшими усами, с физиономией Костюшки. Он, как и все поляки, получал от бельгийского правительства один франк в день и этим довольствовался и решительно ничего не делал: или лежал, развалившись на постели, или бродил по городу... У Потоцкого была еще другая черта славянской или, может быть, преимущественно польской натуры: непомерное хвастовство»*.

Не напоминает ли эта жизнь в чужой стране на «вэлфере» страницы из мемуаров Немоевского о быте польской колонии на берегах Белого озера в XVII веке? Действительно, национальный тип «идеального шляхтича» не то что с годами, а с веками не меняется в польской истории. А вот наш родной русоненавистник Печерин все-таки за несколько десятилетий скитальческой жизни по Европе кое-что понял. Особенно после перехода в католичество.

*«Из шпионствующей России попасть в римский монастырь – это просто из огня в полымя. Последние слова генерала (епископа-иезуита. – Ст. К) ко мне были: «Вы откровенный человек». В устах генерала это было самое жестокое порицание: «Вы человек ни к чему не пригодный».*

Как в этой сцене кратко и выпукло определена пропасть между западноевропейским типом человека-прагматика, человека-лицемера, иезуита, живущего по правилу «цель оправдывает средства», и русского простодушного диссидента, русофоба по глупости, горестно прозревающего от уроков жизни, которые преподает ему высокомерная и лицемерная Европа!

*«Католическая церковь есть отличная школа ненависти!»* – восклицает в отчаянье Печерин, бежавший из России от родного, «нецивилизованного», простонародного православия.

А заключительный приговор Европе и католичеству, вырвавшийся из уст несчастного западника и полонофила, поистине трагичен. Сколько он ни боролся в себе с русской сутью – ничего у него не получилось:

*«Самый подлейший (обратите внимание на «гоголевский» эпитет! – Ст. К) русский чиновник, сам Чичиков никогда так не льстил, не подличая, как эти монахи перед кардиналами. А в Риме и подавно мне дышать было невозможно: там самое сосредоточие пошлейшего честолюбия. Вместо святой церкви я нашел там придворную жизнь в ее гнуснейшем виде».*

И не случайно, что в этом отчаянном покаянии Печерина возникает Гоголь с чиновниками из «Мертвых душ», с Чичиковым, которые после жизни в Европе уже не кажутся ему, как в молодости, рабами и подлецами. Он уже почти любит их, потому что с ним произошло то, что происходит с русскими людьми на закате жизни. И слова Печерина *«самый подлейший*

---

<sup>2</sup> Увеселительный сад в Париже.

*русский чиновник»* – вольно или невольно залетели в его покаянную исповедь тоже из Гоголя, из «Тараса Бульбы»:

*«Но у последнего подлюки, каков он ни есть, хоть весь извалялся он в саже и в поклонничестве, есть и у того, братицы, крупица русского чувства. И проснется оно когда-нибудь, и ударится он, горемычный, об полы руками, схватит себя за голову, проклявши подлую жизнь свою, готовый муками искупить позорное дело».*

Где похоронен наш незадачливый католик, не знает никто, и как тут еще раз не вспомнить рядом с Печериным Андрия Бульбу и вещие слова старого Тараса: «Так продать веру? Продать своих?»

Кстати, в конце жизни Печерин, вынужденный в Ирландском католическом монастыре бороться с протестантизмом, поступил по-русски: публично сжег на городской площади протестантскую библию. Его судили, но, махнув рукой, судьи простили его, как русского человека, не отвечающего за свои поступки.

Интересно то, что полонофильские «Замогильные записки» Печерина вышли с предисловием «пламенного революционера» Л. Б. Каменева (Розенфельда) в 1932 году, когда польская пропаганда эпохи Пилсудского уже вовсю осваивала антирусскую и антисоветскую риторику, а в СССР идея патриотизма (русского и советского) еще не сформировалась.

Любопытные свидетельства о шляхетском национальном характере оставил Фаддей Булгарин. С легкой руки Пушкина, заклеившего Фаддея беспощадными эпиграммами, исследователи пушкинской эпохи относились к нему несерьезно. А зря. Человек он был незаурядный. Его предки по материнской линии – бояре из Великого княжества Литовского, мать из знатного рода Бучинских. Родился он в Минском воеводстве, его отец, приехавший в Россию с Балкан, был тоже из знати – то ли албанской, то ли болгарской. Отсюда и фамилия Фаддея, которого на самом деле звали Тадеуш. Он был своеобразным кондотьером, наемником, солдатом удачи той эпохи. Вместе с Наполеоном и отрядами польской шляхты ходил на Пиренеи усмирять восставших против Бонапарта испанцев, потом с конницей Понятовского шел в составе наполеоновских войск на Москву, потом продал свою шпагу русскому правительству и занялся литературой и журналистикой. Понятно, почему его не терпел Пушкин. Но ясно и другое: поляков, будучи сам полуполяком и выросшим среди них – был вхож в дома Радзивиллов, Чарторыйских, Потоцких, – Булгарин знал, как никто другой. И вот что он писал о польской жизни:

*«В Польше искони веков толковали о вольности и равенстве, которыми на деле не пользовался никто, только богатые паны были совершенно независимы от всех властей, но это была не вольность, а своеволие»... «Мелкая шляхта, буйная и непросвещенная, находилась всегда в полной зависимости у каждого, кто кормил и поил ее, и даже поступала в самые низкие должности у панов и богатой шляхты, и терпеливо переносила побои, – с тем условием, чтобы быть битыми не на голой земле, а на ковре, презирая, однако же, из глупой гордости занятие торговлей и ремеслами, как неприличное шляхетскому званию. Поселяне были вообще угнетены, а в Литве и Белоруссии положение их было гораздо хуже негров...»*

*«Крестьяне в Литве, в Вольниши, в Подолиши, если не были принуждены силой к вооружению, оставались равнодушными зрителями происшествий и большей частью даже желали успеха русским, из ненависти к своим панам, чуждым им по языку и по вере».*

*«Поляки народ пылкий и вообще лежковерный, с пламенным воображением. Патриотические мечтания составляли его поэзию – и Франция была в то время Олимпом, а Наполеон божеством этой поэзии. Наполеон хорошо понял свое положение и весьма искусно им воспользовался. Он дал полякам блистательные игрушки: славу и надежду – и они заплатили ему за это своею кровью и имуществом».*

Вот такими были наши «разочарованные полонофилы»... Трудно было шляхте найти в них настоящих союзников.

А что касается «мистической экзальтации», «католического мессианизма», «театрального либерализма», о котором вспоминали даже наши полонофилы, то я впервые задумался об этой черте польского характера, когда в 1964 году в одном из краковских костелов увидел молящуюся женщину. Она буквально растворилась в экзальтированной молитве, словно бы желая в произвольных движениях слиться с каменными плитами костела, глаза ее были подернуты белесой пленкой, бледные пересохшие уста ее лихорадочно то и дело вдыхали и выдыхали воздух костела, насыщенный сухими запахами известняка и лака, которым были покрыты тускло поблескивавшие ряды деревянных кресел и статуй католических святых.

Может быть, время, а может, война  
женщину в темном платке истрепала,  
не потому ли так сладко она  
к каменным плитам костела припала?

.....

Что ж, органист, забывайся, играй,  
вечность клубится под сводами храма,  
пусть расплеснется она через край  
из сладострастной утробы органа.

Эти стихи написаны во время моей первой поездки в Польшу. Сейчас я понимаю, что, повторив два раза одно и то же слово «сладко», «сладострастная утроба» – я, глядя на истово молящуюся женщину, может быть, случайно прикоснулся к одной из болезненных тайн католицизма, о которых с поразительной пронизательностью писал в «Очерках античного символизма и мифологии» русский философ А. Ф. Лосев. Простите меня за длинную цитату из Лосева, но лучше него об этой тайне не скажешь.

*«Но ярче всего и соблазнительнее всего – это молитвенная практика католицизма. Мистик-платоник, как и византийский монах (ведь оба они, по преимуществу, греки) на высоте умной молитвы сидят спокойно, погрузившись в себя, причем плоть как бы перестает действовать в них., и ничто не шелохнется ни в них, ни вокруг них (для их сознания). Подвижник отсутствует сам для себя; он существует только для славы Божией. Но посмотрите., что делается в католичестве. Соблазненность и прельщенность плотью приводит к тому, что Дух Святой является блаженной Анджееле и нашептывает ей такие влюбленные речи: «Дочь Моя сладостная Мне., дочь Моя храм Мой, дочь Моя услаждение Мое, люби Меня, ибо очень люблю Я тебя, много больше, чем ты любишь Меня»<sup>3</sup>. Святая находится в сладкой истоме, не может найти себе места от любовных томлений. А Возлюбленный все является и является и все больше и больше разжигает ее тело, ее сердце, ее кровь. Крест Христов представляется ей брачным ложем. Она сама через это входит в Бога: «И виделось мне, что нахожусь я в середине Троицы...» Она просит Христа показать ей хоть одну часть тела, распятого на кресте; и вот Он показывает ей... шею. «И тогда явил Он мне Свою шею и руки. Тотчас же прежняя печаль моя превратилась в такую радость и столь отличную от других радостей, что ничего и не видела и не чувствовала, кроме этого. Красота же шеи Его была такова, что невыразимо это. И тогда разумела я, что красота эта исходит от Божественности Его. Он же не являл мне ничего, кроме шеи этой, прекраснейшей и сладчайшей. И не умею сравнить этой красоты с чем-нибудь, ни с каким-нибудь существующим в мире цветом, а только со светом тела Христова, которое вижу я иногда, когда возносят его»... Что может быть более противоположно византийско-московскому суровому и целомудренному подвижничеству, как не эти постоянные кощунственные заявления: «Душа моя была*

---

<sup>3</sup> Откровения бл. Анджелы. Пер. Л. П. Карсавина. М., 1918, с. 95, 100 и мн. др.

приятна в несотворенный свет и вознесена»... эти страстные взирания на крест Христов, на раны Христа и на отдельные члены Его тела, это насильственное вызывание кровавых пятен на собственном теле и т. д. и т. д.? В довершение всего Христос обнимает Анджелу рукою, которая пригвозждена была ко кресту... а она, вся исходя от томления, муки и счастья, говорит: «Иногда от теснейшего этого объятия кажется душе, что входит она в бок Христов. И ту радость, которую приемлет она там, и озарение рассказать невозможно. Ведь так они велики, что иногда не могла я стоять на ногах, но лежала, и отымался у меня язык... И лежала я, и отнялись у меня язык и члены тела»<sup>4</sup>.

Это, конечно, не молитва и не общение с Богом. Это – очень сильные галлюцинации на почве истерии, т. е. прелесть. И всех этих истериков, которым является Богородица и кормит их своими сосцами; всех этих истеричек, у которых при явлении Христа сладостный огонь проходит по всему телу и, между прочим, сокращается маточная мускулатура; весь этот бедлам эротомании, бесовской гордости и сатанизма – можно, конечно, только анафематствовать, вместе с *Filioque*, лежащим у католиков в основе каждого догмата и в основе их внутреннего устройства и молитвенной практики. В молитве опытно ощущается вся неправда католицизма. По учению православных подвижников, молитва, идущая с языка в сердце, никак не должна спускаться ниже сердца.

Православная молитва пребывает в верхней части сердца, не ниже. Молитвенным и аскетическим опытом дознано на Востоке, что привитие молитвы в каком-нибудь другом месте организма всегда есть результат прелестного состояния. Католическая эротомания связана, по-видимому, с насильственным возбуждением и разгорячением нижней части сердца. «Старающийся привести в движение и разгорячить нижнюю часть сердца приводит в движение силу вожделения, которая, по близости к ней половых органов и по свойству своему, приводит в движение эти части. Невежественному употреблению вещественного пособия последует сильнейшее разжжение плотского вожделения. /<^–кое странное явление! По-видимому, подвижник занимается молитвою, а занятие порождает похотение, которое должно бы умерщвляться занятием»<sup>5</sup> Это кровавое разжжение вообще характерно для всякого мистического сектантства. Бушующая кровь приводит к самым невероятным телодвижениям, которые в католичестве еще кое-как сдерживаются общецерковной дисциплиной, но которые в сектантстве достигают невероятных форм».

И дальше Лосев пишет о прельщении католицизмом наших полонофилов и соблазнах, которые «всегда бывали завлекательной приманкой для бестолковой, убогой по уму и по сердцу, воистину «беспризорной» русской интеллигенции. В те немногие минуты своего существования, когда она выдавливала из себя «религиозные чувства», она большею частью относилась к религии и христианству как к более интересной сенсации; и красивый, тонкий, «психологический», извилистый и увертливый, кроваво-воспаленный и в то же время юридически точный и дисциплинарно-требовательный католицизм, прекрасный, как сам сатана, – всегда был к услугам этих несчастных растленных душ. Довольно одного того, что у католиков – бритый патриарх, который в алтаре садится на престол (к которому на Востоке еле прикасаются), что у них в соборах играют симфонические оркестры (напр., при канонизации святых), что на благословение папы и проповедь патеров молящиеся отвечают в храме аплодисментами, что там – статуи, орган, десятиминутная обедня и т. д. и т. д., чтобы усвоить всю духовно-стилевую несовместимость католичества и православия. Православие для католичества анар-

<sup>4</sup> Там же, с. 137, 140, 151, 152. Я не привожу (да было бы и странно подробно заниматься этим здесь) массы других фактов, типичных для католической мистики. Материалы, относящиеся к Терезе, Мехтильде, Гертруде и пр., очень выразительны в этом отношении. Замечу, кроме того, что я привел несколько цитат не только не из самого яркого, что можно было бы привести, но даже и не из среднего. Приводить самое яркое и кошунственно, и противно. (Примечание А. Ф. Лосева.)

<sup>5</sup> Сочинения еп. Игнатия Брянчанинова. СПб., 1905.

*хично (ибо чувство объективной, самой по себе данной истины, действительно, в католичестве утрачено, а меональное бытие всегда анархично). Католичество же для православия развратно и прелестно (ибо меон, в котором барахтается, с этой точки зрения, верующий, всегда есть разврат). Католицизм извращается в истерию, казуистику, формализм и инквизицию. Православие, развращаясь, дает хулиганство, разбойничество, анархизм и бандитизм. Только в своем извращении и развращении они могут сойтись, в особенности, если ил: синтезировать при помощи протестантско-возрожденского иудаизма, который умеет истерию и формализм, неврастению и римское право объединять с разбойничеством, кровавым сладострастием и сатанизмом при помощи холодного и сухого блюда политико-экономических теорий».*

Вполне возможно, что нынешние мерзкие скандалы, потрясающие католический мир, – растление пастырями несовершеннолетних, оправдание мужеложства, благословение однополых браков и прочих чувственных, антихристианских извращений, – что все эти пороки западной церковной жизни в своей изначальной сути возвращены мутными соками католической молитвы, о которой столь точно и беспощадно написал русский православный философ.

## Адам Мицкевич и Константин Леонтьев

Масла в разогревающийся костерок моего искреннего полонофильства добавило пребывание осенью 1963 года на двухмесячных военных сборах во Львове-Лемберге.

Я с наслаждением бродил по его блестящим базальтовым мостовым, по тенистому, уставленному католическими надгробьями Лычаковскому кладбищу, заглядывался на прихотливую барочную вязь львовских костелов, поднимался к Высокому замку, откуда предо мной простирались каменнопарковые пространства первого европейского города, увиденного мной. А особняки с овальными окнами, резными дубовыми дверями, кованными из черного железа кружевами вокруг парадных подъездов и балконов говорили о какой-то особой, изысканной внутренней жизни, неизвестной ни моей Калуге, ни тем более далекой Сибири, откуда я недавно возвратился в Россию, и потому особенно загадочной и соблазнительной.

А тут еще вышел на львовские экраны «Пепел и алмаз» Анджея Вайды! Строчки из Циприана Норвида! Я уже знал и любил его стихи, как и стихи Болеслава Лешмяна или Константы Ильдефонса Галчинского. Дружба со Слуцким и Самойловым, переводившими польских поэтов, не прошла даром... Ах, какой это был фильм «Пепел и алмаз»! От одной сцены, когда обреченный Мацек влюбляется перед смертью в Зоею, когда они в разрушенном костеле читают стихи о превращении угля в алмаз, мое сердце начинало сладко щемить.

А какую высоко театральную польскую боль источала сцена, где обносившаяся, потускневшая за годы оккупации шляхта в ночь освобождения сомнамбулически танцует полонез Огиньского, столь волнительный и для русского славянского сердца, полонез, заглушаемый могучей песней и грохотом шагов советских солдат, вступающих в город.

Но увидев эту сцену, я сразу же вспомнил размышления Константина Леонтьева из «Варшавского дневника», которые он печатал в катковской газете, будучи корреспондентом в Польше зимой 1880 года. Дело в том, что восьмой том из собрания сочинений Константина Леонтьева, изданного в 1909 году, в ту осень лежал у меня под подушкой в казарме Военно-политического училища, расположенного в центре Стрыйского парка. Никто из моих московских друзей Леонтьева еще не читал, а мне эту книгу взять с собой на военные сборы настоятельно посоветовал Александр Петрович Межиров, за что я ему до сих пор благодарен. Приходя в казарму после работы в редакции окружной газеты «Ленинское знамя», я уединялся в красном уголке, садился под портретом Ленина и погружался в пиршество мыслей, в красоту стиля, в бездну мужественных и страшных пророчеств этого великого и непонятого Россией человека.



## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.